



*Куда спокойней раз поверить,
Чем жить и мыслить каждый день.
Так бойтесь тех, в ком дух железный,
Кто преградил сомненьям путь,
В чьём сердце страх увидеть бездну
Сильней, чем страх в неё шагнуть.*

НАУМ КОРЖАВИН

Медленность, сбивчивость исторического хода нас бесит и душит, она нам невыносима, и многие из нас, изменяя собственному разуму, торопятся и торопят других... Всякая попытка обойти, перескочить сразу — от нетерпенья, увлечь авторитетом или страстью — приведёт к страшнейшим столкновениям и, что хуже, к... поражениям.

АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН

Возможно, эта мысль покажется вам смехотворной, но единственное оружие против чумы — это честность.

АЛЬБЕР КАМЮ

ПРОЛОГ

Мы шли уже семь с лишним часов почти без передышки. Я тащился, шаркая лыжами, как большими галошами, Корнеев с раздражающей лёгкостью скользил впереди, а ведь ему приходилось куда труднее, чем мне, — он прокладывал лыжню. Время от времени он прибавлял ходу и исчезал из виду. Заблудиться я не боялся, чёткая корнеевская лыжня выделялась даже в сумерках, но всё равно становилось не по себе. Подбитые камусом* лыжи катились совершенно бесшумно, беззвучно падал лишённый запаха снег со случайно задетой ветки, тёмные, почти чёрные на снежном фоне деревья стояли неподвижным ровным строем, серовато-розовое закатное небо стремительно темнело, и мир делался условным, плоским, словно старинная чёрно-белая гравюра. Потом Корнеев возвращался, вдруг выныривал откуда-нибудь сбоку, говорил, посмеиваясь: «Привет чемпионам», — и мир вновь наполнялся цветами, звуками и запахами.

* Камус — шкура с голени животных, обладающих коротким и прочным мехом (северного оленя, лося, косули, нерпы), которая используется для изготовления зимней обуви (кис, унт) и специальной противоскользящей подкладки на нижнюю поверхность охотничьих лыж.

Позавчера, уговаривая его пойти со мной, я сказал, что лыжи люблю, ходить умею и даже в соревнованиях участвовал. С тех пор он звал меня чемпионом и по-другому звать отказывался.

Утром, перед выходом, он заставил меня поклясться, что я не поверну назад, что бы ни случилось. Я спросил его, не нужно ли скрепить клятву кровью, он не засмеялся, глянул на меня искоса, сказал серьёзно, что крови не надо, но без клятвы он со мной не пойдёт.

— Клянусь идти вперёд до конца за великим вождём Корнеевым Кроличья Шапка, и пусть перестанут скользить мои лыжи и видеть — мои глаза, если я поверну назад, — сказал я.

Он и тут не засмеялся, цыкнул неодобрительно, сильно оттолкнулся палками, пошёл ровным размашистым ходом и через пару минут исчез меж деревьев. Я поехал следом, поначалу так же легко и быстро, но всё медленнее и тяжелее с каждым прошедшим часом. Ныли ноги, ныли руки, я весь взмок в своём толстом самодельном анораке, но стоило на минуту остановиться, как холод пробирал насквозь, до дрожи. Тяжеленный рюкзак, набитый запасами на месяц, а то и на два, оттягивал спину и плечи, непривычно высокие валенки натирали под колленками, и последние два часа шёл я только потому, что стоять было ещё хуже.

Корнеев снова вынырнул из-за дерева, сообщил:

— Полкилометра до зимовья. Заночуем там, не пройди тебе больше.

Я кивнул, он развернулся всё с той же раздражающей лёгкостью и исчез.

Я с завистью глянул ему вслед и попытался прибавить ходу. Если идти без остановки, полкилометра можно осилить за четверть часа. Всего четверть часа, каких-то девятьсот секунд отделяли меня от зимовья, от печки, от

горячего чая, от счастливой возможности снять лыжи, сесть и даже лечь.

Лыжня свернула направо и нырнула под старую ель с низко опущенными ветвями, я нагнулся, задел ветку, снег свалился за воротник. Выбравшись из-под ели, я увидел в просвете между деревьями небольшую поляну, идеально белую и ровную, как накрахмаленная скатерть. Лыжня тянулась через неё прямой острой линией, словно заглаженная складка. Приземистая избушка стояла на другом конце поляны, из снежного сугроба на покато́й крыше торчали корнеевские лыжи и палки. «Ура!» — закричал я, и большая пепельно-серая птица выпорхнула из ветвей над моей головой, испуганно квохча, и тут же скрылась за деревьями. Корнеев выглянул из избушки, погрозил мне кулаком. Я засмеялся, он осуждающе покачал головой и захлопнул дверь.

Полчаса спустя я сидел на грубых деревянных нарах, потягивал кипяток из алюминиевой кружки, грел о кружку задубевшие до нестигаемости пальцы, разглядывал зимовье в неровном, пляшущем свете керосиновой лампы. Корнеев возился в углу у печки. Он забросил в котелок две горсти крупы, покосился на меня, посопел и добавил горстку изюма. В зимовье запахло летом.

— Давай помогу, — предложил я.

— Отдыхай пока, чемпион, — сказал Корнеев. — Два чемкэста* сделал по пухляку. Я думал, одного не сделаешь, обратно пойдёшь.

— Нельзя мне обратно, я ж тебе объяснял.

— Языком махать — не пахать.

— Ты мне всё ещё не веришь?

* Чемкэст — расстояние между зимовьями, примерно 8–10 км (коми).

— Верю, — подумав, ответил Корнеев. — Верю, что так рассказали тебе.

— Но ты же сам сказал, что это может быть.

— Мало что я сказал. Что сказал, а чего и не сказал, — загадочно заметил Корнеев. — Всё, кончай тары-бары, поедим и спать завалимся.

Минут пятнадцать мы молча, сосредоточенно ели. Корнеев никогда не говорил за едой, утверждал, что еду уважать надо. После ужина он вышел на улицу, протёр снегом миски, вернулся в дом, сложил в печку несколько принесённых сырых полешек.

— Зачем сырые? — удивился я. — Вон же в углу сухие дрова.

— Чтоб всю ночь тлело, дурень, — пояснил Корнеев.

Мы расстелили на нарах спальные мешки, залезли в них, заворочались, устраиваясь поудобнее. Я вытянулся, зевнул раз, другой — сон не приходил. Сквозь печную заслонку пробивался тревожный красноватый свет, по стенам скользили тени от подвешенных под потолком пакетов с едой, едва слышно пиликал сверчок в углу у печки, и казалось невозможным, невероятным, что ещё неделю назад я был в Ленинграде. Корнеев тоже не спал, что-то напевал тихо, монотонно, будто сам себя убаюкивал. Потом вдруг замолчал, посопел и сказал:

— Кой-чего знаю я про Тот Город.

— Откуда? — удивился я.

— Брат мой там был.

Я попытался сесть прямо в мешке, но свалился, как ванька-встанька. Рванул молнию, выскочил из мешка, схватил Корнеева за мощные плечи, торчавшие из старого армейского спальника, и крикнул:

— Значит, Тот Город есть? В самом деле есть?!

— Брат говорит, что есть, — флегматично ответил Корнеев.

— Так что ж ты мне раньше не сказал? — возмутился я. — Что ж ты...

— Не знал тебя, — всё так же флегматично сказал он, сбрасывая с плеч мои руки.

— А теперь знаешь?

— Немного знаю.

Больше в тот вечер я от него ничего не добился, на все мои вопросы он отвечал: «Отвязни, спать охота», — а потом и вовсе захрапел таким богатырским храпом, что нары задрожали. Я залез обратно в мешок, с трудом закрыл поломанную молнию, но заснуть не мог. Я думал об Осе.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я

1

Мы познакомились на пешеходном переходе. Она стояла слева от меня, и не заметить её было невозможно, такая она была яркая. Полгода спустя, когда она стала моим хорошим другом, может быть, лучшим, который у меня когда-либо был, я спросил её, откуда это пристрастие к ярким тонам. Она улыбнулась. Она всегда улыбалась, прежде чем ответить. У любого другого это бы выглядело по-идиотски: ну чего улыбаться, когда тебя спрашивают, который час или кто последний в очереди. А она улыбалась, словно наделяла тебя частицей своего светлого мира, впускала тебя туда на минуточку, и улыбка была — билет, разрешение на вход.

Так вот, она улыбнулась и сказала:

— Эффект маятника.

— Максвелла? — глупо спросил я.

Мне было пятнадцать лет, и изо всех своих небольших силёнок я стремился удержаться на её интеллектуальном уровне.

— Почему Максвелла? — удивилась она. — Обычного. — И, поглядев на меня внимательней, захохотала.

За неделю до этого разговора к ней пришёл один из её странных приятелей, они заспорили о какой-то неизвестной мне теории, и таинственный маятник Максвелла был дважды упомянут в разговоре. На следующий день я впервые в жизни поднял руку на уроке физики и спросил учительницу, что такое маятник Максвелла. Учительница не помнила, и после школы я отправился в городскую библиотеку, где провёл два бесконечных часа, пытаясь понять, как этот самый маятник работает и что в нём особенного.

Конечно, я мог бы спросить у неё, и она бы мне с удовольствием объяснила: она любила объяснять и делала это исключительно хорошо. Но всегда предпочитала, чтобы я сам нашёл, прочитал, осмыслил.

— Не будь кукушонком, — говаривала она. — Не сиди с открытым ртом. Сам добывай себе интеллектуальную пищу.

И ещё у неё был приёмчик.

— Шпенглеровское определение культуры... — начала она и, повернувшись ко мне, спрашивала: — Ты, конечно, знаешь, кто такой Шпенглер?

Конечно, я не знал. Ни о Шпенглере, ни о Швейцере, ни о бритве Оккама*, ни о парадоксе Гегеля**. Поначалу я не понимал и половины того, о чём рассуждала она со

* Бритва Оккама — принцип, сформулированный английским философом Уильямом из Оккама (1285–1349). Принцип утверждает, что простейшие объяснения явления, проблемы, вопроса — самые лучшие.

** «История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы» — парадокс, сформулированный немецким философом Г. Гегелем.

своими разнообразными знакомыми. Но я старался, я трудился так, словно жизнь моя зависела от того, пойму я, что такое бритва Оккама, или нет. Я записывал в блокнот умные слова, я переписывал в общую тетрадь стихи из книг, которые она не разрешала брать домой, я стал настоящим работником одноклассника, отец которого работал директором библиотеки. Для чего мне было это нужно, я не мог себе ответить тогда, не могу и сейчас. Может быть, я боялся, что ей станет скучно со мной, что она перестанет меня приглашать, что появится другой «Андрюшка на побегушках», как она шутя меня называла. А я уже не представлял себе жизни без неё, без споров с ней, без её рассказов, её книг, её музыки. А может быть, она просто была единственным взрослым, которому было интересно, что со мной происходит.

И дело не в том, что дома мне было плохо. Пока был жив отец, мы жили так хорошо, так дружно и легко, что даже не понимали, как хорошо мы живём. Мы ходили в походы и на концерты, устраивали праздники, писали друг другу стихи и не понимали — во всяком случае, я не понимал, — как нам повезло.

Но умер отец, и что-то умерло в матери вместе с ним, словно он был не отдельный человек, а какой-то её внутренний орган. Мы больше не пели, не сплавлялись и ничего не праздновали. Мать начала болеть, часто лежала в больницах, ушла с работы, так как не могла больше часами стоять у кульмана, оформила пенсию по инвалидности. Она готовила еду, ходила на родительские собрания, следила за моими оценками, настояла, чтобы сестра окончила институт, но всё это словно через силу, словно выполняя долг. Или держа данное кому-то обещание. Если бы я не знал, что отец умер мгновенно, я бы подумал, что он взял с неё предсмертную клятву.

Большую часть времени мать проводила сидя на нашем крохотном, ещё отцом застеклённом балкончике с неизменным вязаньем в руках. Ни одной вещи она до конца не довязала, это был её предлог, её оправдание, но всё это я понял значительно позже, а по молодости лет очень раздражался и даже как-то предложил сестре спрятать вязанье.

— Оставь её в покое, — сказала сестра. Она была старше меня на шесть лет и понимала больше и глубже. Пару лет спустя, так и не преуспев ни в одном из своих начинаний — мы так и не съездили на юг, не сделали ремонт и не взяли садовый участок, — сестра тоже оставила её в покое, зажила своей жизнью и домой приходила только ночевать, да и то не всегда. Ещё через год сестра окончила институт и уехала по распределению в Сибирь. Она уверяла, что хочет посмотреть мир, но я думаю, она просто сбежала от тусклой безысходности нашей семейной жизни. Я тоже сбежал — к Осе.

Чтобы объяснить дома свои ежевечерние исчезновения, я сказал, что нашёл учительницу английского на пенсии, которая готова заниматься со мной бесплатно, если я буду гулять с её собакой и ходить в магазин. Мать и сестра обрадовались и тому, что я взялся за ум, и тому, что мне помогают, и что помощь эта бесплатна.

Враньём была только собака. Собак Ося не любила и, как мне казалось, даже побаивалась. Это было странно, поскольку человеком она была абсолютно бесстрашным, инстинкт самосохранения у неё отсутствовал напрочь, как она сама мне сообщила не без гордости.

В возрасте шестидесяти восьми лет, захлопнув дверь и забыв внутри ключи, она отправилась к соседке и перелезла через балкон в свою квартиру на шестом этаже так, словно это был первый. Я спросил, по-